# Под кожей статуи Свободы

***Отрывки из поэмы

Это было в мексиканском городе Чигуагуа. В доме-музее Панчо Вильи протекала крыша.

Капли дождя, просачиваясь сквозь испещрённый разводами потолок, мерно падали в эмалированный облупленный таз, стоявший на застеклённом шкафу, где висел генеральский мундир героя мексиканской революции. Сеньора Вилья с трудом передвигала распухшие ноги в домашних войлочных туфлях по скрипучему полу. Ей было нелегко носить своё тяжёлое, расплывшееся тело, колыхавшееся под длинным чёрным платьем, но она держалась величественно.

— Надо бы отремонтировать крышу, — сказала сеньора Вилья. — Но они до сих нор не дали мне пенсии. И ни одного песо на содержание музея. Мне говорят, чтобы я кому-то написала, но у меня есть гордость. Панчо тоже был гордый. Они до сих пор ненавидят его и мстят ему, даже мёртвому…

Я вспомнил, как один официальный чиновник поморщился, узнав о моём желании посетить этот дом.

«Панчо Вилья — это легенда, придуманная неграмотными пеонами и ловкими кинематографистами. Он совершенно не разбирался в политике. Революция, конечно, нуждалась в таких людях, но лишь на определённом этапе…»

Сеньора Вилья подвела меня к заржавленному старомодному автомобилю, стоявшему во дворе под навесом:

— Видите, вот здесь пулевая пробоина… И здесь… И здесь. Когда в Америке убили молодого президента, я подумала, что моего Панчо они убили точно так же — в открытой машине.

Сеньора Вилья оглянулась, как будто её могли услышать о н и, и перешла на лихорадочный шёпот:

— Я, конечно, необразованная крестьянка, сеньор, но вот что я вам скажу. Они — везде и, может быть, сейчас подслушивают нас. Они — во всех странах, только в Мексике они говорят по-испански, а в Америке — по-английски. Это они когда-то распяли нашего бедного Христа и с той поры ищут всех, кто хоть немножко похож на него, и убивают, убивают, убивают. Это они придумали налоги и канцелярии. Это они построили тюрьмы и расплодили полицию. Это они изобрели дьявольскую бомбу, на которую не пойдёшь с простым мачете…

Сеньора Вилья подошла к застеклённому шкафу, вынула генеральский мундир и посмотрела на свет:

— Проклятая моль. Она проникает всюду. Она разъедает всё…

Сеньора Вилья достала из старинной шкатулки нитки, иглу, напёрсток и начала штопать мундир, как будто завтра его мог потребовать хозяин.

А над её седой головой с пожелтевшей фотографии улыбался на лихом коне и в сомбреро её Панчо — генерал обманутой Армии Свободы.

«Панчо Вилья — это буду я.
На моём коне, таком буланом,
чувствую себя сейчас болваном,
потому что предали меня.
Был я нищ, оборван и чумаз.
Понял я, гадая, кто виновник:
хуже нету чёрта, чем чиновник,
ведьмы нет когтистее, чем власть.

И пошли мы, толпы мужиков,
за «свободой» — за приманкой ловкой,
будто бы за хитрою морковкой
стадо простодушных ишаков.
Стал я как Христос для мужичья,
и, подняв мачете или вилы,
Мексика кричала: «Вива Вилья!»,
ну а Вилья — это буду я.
Я, ей-богу, словно пьяный был,
а башка шалеет, если пьян ты,
и велел вплетать я аксельбанты
в чёлки заслуживших их кобыл.

Я у них сидел, как в горле кость,
не попав на удочку богатства.
В их телегу грязную впрягаться
я не захотел. Я дикий конь.
Я не стал Христом. Я слишком груб.
Но не стал Иудою — не сдался,
и, как высший орден государства,
мне ввинтили пулю — прямо в грудь.

Я сиял среди шантанных див
в орденах, как в блямбах
торт на блюде,
Розу, чьей-то пахнущую грудью,
на своё сомбреро посадив.
Было нам сначала хорошо.
Закачалась Мексика от гуда.
Дело шло с трофеями не худо —
со свободой дело хуже шло.
Тот, чей норов соли солоней,
стал не нужен. Нужен стал, кто пресен.
Всадники обитых кожей кресел
победили всадников коней.
И крестьянин снова был оттёрт
в свой навоз бессмертный,
в свой коровник.
Даже в революции чиновник
выживает. Вот какой он, чёрт!»

У сенатора Роберта Кеннеди были странные глаза. Они всегда были напряжённы.

Голубыми лезвиями они пронизывали собеседника насквозь, как будто за его спиной мог скрываться кто-то опасный.

Даже когда сенатор смеялся и червонный чуб прыгал на загорелом, шелушащемся лбу горнолыжника, а ослепительные зубы скакали во рту, как дети на лужайке, его глаза жили отдельной, настороженной жизнью. Сегодня, в день своего рождения, сенатор был в ярко-зелёном пиджаке, малиновом галстуке-бабочке, весёленьких клетчатых брюках и лёгких замшевых башмаках. Но вся эта пестрая одежда, казалось, была рассчитана на то, чтобы отвлечь гостей от главного — от глаз хозяина.

Энергичные руки сенатора помогали гостям снимать шубы, трепали по стриженым головам многочисленных кеннедёнков, составивших домашний джаз и упоённо колотивших по металлическим тарелкам. Тонкие губы сенатора улыбались, хорошо зная, как обаятельно они умеют это делать, и вовремя успевали сказать каждому гостю что-нибудь особенно ему приятное.

Но глаза сенатора — два синих сгустка воли и тревоги — никого не гладили по головам, никому не улыбались.

Они обитали на лице как два непричастных к общему веселью существа. Внутри глаз шла изнурительная скрытая работа.

— Запомните мои слова: этот человек будет президентом Соединённых Штатов, — сказал, наклоняясь ко мне, Аверелл Гарриман.

За столом владычествовал знаменитый фельетонист Арт Бухвальд, похожий на благодушного, упитанного кота, который, однако, время от времени любит запустить когти в тех, кто его гладит.

Арт Бухвальд артистически демонстрировал свою независимость, с лёгкой ленцой высмеивая всех и вся, включая хозяина дома.

Умные короли всегда приглашали на праздник беспощадно ядовитых шутов. Шуты высмеивали королей в их присутствии, отчего те выглядели ещё умнее. Приручённый разоблачитель не страшен, а скорее полезен. Но это понимали только умные короли.

И Роберт Кеннеди хохотал, восторгаясь талантливым издевательством Бухвальда, обнимал фельетониста и чокался.

Но глаза сенатора продолжали работать. Между тем затеяли игру в жмурки.

Длинноногая художница, надвинув чёрную повязку на глаза, неуверенно бродила по комнате, ищуще простирая в воздухе руки, окутанные красным газом.

Её пальцы с маникюром лунного цвета, чуть шевелясь, приблизились к язычку пламени, колыхавшегося над свечой.

— Осторожней, огонь… — сказал стоявший неподалёку сенатор.

— А, это ты, Бобби, — засмеялась женщина и бросилась на его голос.

Бобби ловко увернулся и отпрыгнул к стене.

Но женщина с чёрной повязкой на глазах шла прямо на него, преграждая раскинутыми руками пути к отступлению.

Бобби прижался к стене, словно стараясь вжаться в неё, но стена не впустила его в себя…

Когда праздник уже захлёбывался сам в себе, мы стояли с Робертом Кеннеди одни в коридоре. У нас в руках были старинные хрустальные бокалы, в которых плясали зелёные искорки шампанского.

— Скажите, а вам действительно хочется стать президентом? — спросил я. — По-моему, это довольно неблагодарная должность.

— Я знаю, — усмехнулся он. Потом посерьёзнел. — Но я хотел бы продолжить дело брата.

— Тогда давайте выпьем за это, — сказал я. — Но чтобы это исполнилось, по старому русскому обычаю: бокалы до дна, а потом об пол…

Роберт Кеннеди неожиданно смутился, взглянув на бокалы.

— Хорошо, только я должен спросить разрешения у Этель. Это фамильные из её приданого…

Он исчез с хрустальными бокалами, а затем появился ещё более смущённый: «Жёны есть жёны… Я взял в кухне другие бокалы, какие попались…»

Меня несколько удивило, как можно думать о каких-то бокалах, когда произносится такой тост, но, действительно, жёны есть жёны.

Мы выпили и одновременно швырнули опустошённые бокалы. Но они не разбились, а, мягко стукнувшись, покатились по красному ворсистому ковру.

Работа в глазах сенатора прекратилась. Они застыли, уставившись на неразбившиеся бокалы.

Роберт Кеннеди поднял один из них и постучал пальцем по стеклу. Звук получился глухой, невнятный. Бокалы были из прозрачного пластика.

«Я пристрелен эпохой,
Роберт Кеннеди, Бобби,
за отсутствием бога
выдвигавшийся в боги.
Меня деньги любили.
Меня люди любили
за фамилию — или
за мои голубые.
Но на лбу у любимца
есть особое что-то,
словно крестик убийства
на дверях гугенота.
И убит я за то, что —
не в пример лицемерам —
чубом слишком задорно
выделялся на сером.
Просто целиться в лампу.
Трудно — в нечто без данных.
Яркость — слабость таланта.
Серость — сила бездарных.
Серость — века проклятье —
ненавидел я мстительно
с той поры, как при брате
стал министром юстиции.
Я влезал не с довольством,
а с придавленным сердцем
в небоскрёбы доносов.
Архитектор их — серость!
Серость душит усердно,
серость душит двулично
все попытки — не серым
быть хотя бы частично.
Серость — шлюха, невежда,
но не чужды ей страсти.
Как с трамплина — с навета
серость — прыг! — и у власти.
Как в лотке для промыва,
серость души отсеивает.
Самородки — с обрыва!
Наше золото — серость!
И в стране, как товары,
потерявшие ценность,
свозит в склады таланты.
Спрос на серость, на серость!
Оглянись, населенье,
как вольготно расселась
и врастает в сиденья
креслозадая серость.
Населенье, не слушай
уговоры болота:
«Всё же серое лучше,
чем кровавое что-то…»
Вздрогни, мертвенно съёжась
за уютным обедом, —
ведь коричневый ужас
прёт за серостью следом.
Вспомни вместо идиллий,
разрезая свой пудинг,
как в мой чуб засадили
сгусток серости — пулю…»***